

## Что нравилось Ильичу из художественной литературы\*

Товарищ, познакомивший меня впервые с Владимиром Ильичем, сказал мне, что Ильич человек ученый, читает исключительно ученые книжки, не прочитал в жизни ни одного романа, никогда стихов не читал. Подивилась я. Сама я в молодости перечитала всех классиков, знала наизусть чуть ли не всего Лермонтова и т. п., такие писатели, как Чернышевский, Л. Толстой, Успенский, вошли в мою жизнь, как что-то значащее. Чудно мне показалось, что вот человек, которому все это не интересно нисколько.

Потом на работе я близко узнала Ильича, узнала его оценки людей, наблюдала его пристальное вглядывание в жизнь, в людей — и живой Ильич вытеснил образ человека, никогда не бравшего в руки книг, говоривших о том, чем живы люди.

Но жизнь тогда сложилась так, что не удосужились мы как-то поговорить на эту тему. Потом уж, в Сибири, знала я, что Ильич не меньше моего читал классиков, не только читал, но и перечитывал не раз Тургенева, например. Я привезла с собою в Сибирь Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Владимир Ильич положил

---

\* Статья написана в 1927 г.

их около своей кровати, рядом с Гегелем и перечитывал их по вечерам вновь и вновь. Больше всего он любил Пушкина. Но не только форму ценил он. Например, он любил роман Чернышевского «Что делать?», несмотря на мало художественную наивную форму его. Я была удивлена, как внимательно читал он этот роман и какие тончайшие штрихи, которые есть в этом романе, он отметил. Впрочем, он любил весь облик Чернышевского, и в его сибирском альбоме были две карточки этого писателя, одна, написанная рукой Ильича, — год рождения и смерти. В альбоме Ильича были еще карточки Эмиля Золя, а из русских — Герцена и Писарева. Писарева Владимир Ильич в свое время много читал и любил. Помнится в Сибири был также Фауст Гете на немецком языке и томик стихов Гейне.

Возвращаясь из Сибири, в Москве Владимир Ильич ходил раз в театр смотрел «Извозчик Геншель», потом говорил, что ему очень понравилось.

В Мюнхене из книг, нравившихся Ильичу, помню роман Гергардта «Bei mama» («У мамы») и «Buttnerbauer» («Крестьянин») Поленца.

Потом позже, во вторую эмиграцию, в Париже, Ильич охотно читал стихи Виктора Гюго «Chatiments», посвященные революции 48 года, которые в свое время писались Гюго в изгнании и тайно ввозились во Францию. В этих стихах много какой-то наивной напыщенности, но чувствуется в них все же веяние революции. Охотно ходил Ильич в разные кафе и пригородные театры слушать революционных шансонетчиков, певших в рабочих кварталах обо всем, — и о том, как подвыпившие крестьяне выбирают в палату депутатов проезжего агитатора, и о воспитании детей, и о безработице и т. п. Особенно нравился Ильичу Монтегюз. Сын коммунара — Монтегюз был любимцем рабочих окраин. Правда, в его импровизированных песнях — всегда с яркой бытовой окраской — не было определенной какой-нибудь идеологии, но было много искреннего увлечения. Ильич часто напевал его привет 17 полку, отказавшемуся стрелять в стачечников: «Salut, salut a vous, soldats de 17-me» («Привет, привет вам, солдаты 17 полка»). Однажды на русской вечеринке Ильич разговорился с Монтегюзом, и, странно, эти столь разные люди — Монтегюз, когда потом разразилась война, ушел в лагерь шовинистов — размечтались о мировой революции. Так бывает иногда — встретятся в вагоне мало знакомые люди и под стук колес вагона разговорятся о самом заветном, о том, чего бы не сказали никогда в другое время, потом разойдутся и никогда больше в жизни не встретятся. Так и тут было. К тому же разговор шел на французском языке, — на чу-

жом языке мечтать вслух легче, чем на родном. К нам приходила на пару часов француженка-уборщица. Ильич услышал однажды, как она напевала песни. Это — националистическая эльзасская песня. Ильич попросил уборщицу пропеть ее и сказать слова, и потом нередко сам пел ее. Кончалась она словами:

Vous avez pris Elsass et Latoraine,  
Mais molgres vous nous resterons fsancais,  
Vous avez pu germaniser nos plaines.  
Mais notre coeur, vous ne l'aurez jamais!

Был это 1909 год — время реакции, партия была разгромлена, но революционный дух ее не был сломлен. И созвучна была эта песня с настроением Ильича. Надо было слышать, как победно звучали в его устах слова песни: «Mais, notre coeur, vous ne laurez jamais!!»

В эти самые тяжелые годы эмиграции, о которых Ильич всегда говорил с какой-то досадой, уже вернувшись в Россию, он как-то еще раз повторил, что не раз говорил раньше: «и зачем мы только уехали тогда из Женевы в Париж!» В эти тяжелые годы он упорнее всего мечтал — вместе с Монтегюзом, победно распевая эльзасскую песню, в бессонные ночи зачитываясь Верхарном.

Потом, позже, во время войны, Владимир Ильич увлекался книжкой Барбюсса «Le feu» («Огонь»), — придавал ей громадное значение. Эта книжка была так созвучна с его тогдашним настроением.

Мы редко ходили в театр. Пойдем, бывало, но ничтожность пьесы или фальшь игры всегда резко били по нервам Владимира Ильича. Обычно, пойдем в театр и после первого действия уходим. Над нами смеялись товарищи, зря деньги переводим.

Но раз Ильич досидел до конца; это было, кажется, в конце 1915 года в Берне, — ставили пьесу Л. Толстого «Живой труп». Хоть шла она по-немецки, но актер, игравший князя, был русский, он сумел передать замысел Л. Толстого. Ильич напряженно и взволнованно следил за игрой.

И, наконец, в России. Новое искусство казалось Ильичу чужим, непонятным. Однажды нас позвали в Кремль на концерт, устроенный для красноармейцев. Ильича провели в первые ряды. Артистка Грозовская декламировала Маяковского «наш бог — бег, сердце — наш барабан» и наступала прямо на Ильича, а он сидел, немного растерянный от неожиданности, недоумевающий, и облегченно вздохнул, когда Грозовскую сменил какой-то артист, читавший «Злоумышленника» Чехова.

Раз вечером захотелось Ильичу посмотреть, как живет коммуной молодежь. Решили нанести визит нашей вхутемасовке — Варе

Арманд. Было это, кажется, в день похорон Кропоткина, в 1921 г. Был это голодный год, но было много энтузиазма у молодежи. Спали они в коммуне чуть ли не на голых досках, хлеба у них не было, «зато у нас есть крупа!» с сияющим лицом заявил дежурный член коммуны — вхутемасец. Для Ильича сварили они из этой крупы важнецкую кашу, хоть и была она без соли. Ильич смотрел на молодежь, на сияющие лица обступивших его молодых художников и художниц — их радость отражалась и у него на лице. Они показывали ему свои наивные рисунки, объясняли их смысл, засыпали его вопросами. А он смеялся, уклонялся от ответов, на вопросы отвечал вопросами. Что вы читаете? Пушкина читаете? — О, нет! — выпалил кто-то, — он был, ведь, буржуй! Мы — Маяковского! Ильич улыбнулся: — по-моему, Пушкин лучше. После этого Ильич немного подобрел к Маяковскому. При этом имени ему вспоминалась вхутемасовская молодежь, полная жизни и радости, готовая умереть за советскую власть, не находящая слов на современном языке, чтобы выразить себя и ищущая этого выражения в малопонятных стихах Маяковского. Позже Ильич похвалил однажды Маяковского за стихи, высмеивающие советский бюрократизм.

Из современных вещей, помню, Ильичу понравился, роман Эренбурга, описывающий войну. — Это, знаешь, — Илья Лохматый! (былая кличка Эренбурга) — торжествующе рассказывал он. — Хорошо у него вышло!

Ходили мы несколько раз в Художественный театр. Раз ходили смотреть «Потоп». Ильичу ужасно понравилось. Захотел идти на другой же день опять в театр. Шло Горького «На дне». Алексея Максимовича Ильич любил, как человека, к которому почувствовал близость на Лондонском съезде, любил, как художника, считал, что, как художник, Горький многое может понять с полуслова. С Горьким говорил особенно откровенно. Поэтому, само собой, к игре вещи Горького Ильич был особенно требователен. Излишняя театральность постановки раздражала Ильича; после «На дне» он надолго бросил ходить в театр. Ходили мы еще с ним как-то на «Дядю Ваню» Чехова. Ему понравилось. И, наконец, в последний раз ходил в театр уже в 1922 г. смотреть «Сверчка на печи» Диккенса. Уже после первого действия Ильич заскучал, стала бить по нервам мещанская сентиментальность Диккенса, а когда начался разговор старого игрушечника с его слепой дочерью, — не выдержал Ильич, ушел с середины действия.

Последние месяцы жизни Ильича. По его указанию я читала ему беллетристику, к вечеру обычно. Читала Щедрина, читала «Мои университеты» Горького. Кроме того, любил он слушать

стихи, особенно Демьяна Бедного. Но нравились ему больше не сатирические стихи Демьяна, а пафосные.

Читаешь ему, бывало, стихи, а он смотрит задумчиво в окно на заходящее солнце. Помню стихи, кончающиеся словами: «Никогда, никогда коммунары не станут рабами!».

Читаешь, — точно клятву Ильичу повторяешь — никогда, никогда не отдадим ни одного завоевания революции...

